

# ...Колеблет твой треножник



Александр  
Солженицын

Прошло два десятилетия с той поры, как впервые была опубликована эта страстная и глубокая полемическая статья. Нет уже автора «Прогулок с Пушкиным» и, казалось, стоит ли ворошить прошлое? И всё-таки последуем совету А.И. Солженицына — перелистаем современную печатную продукцию, обретшую свободу, и убедимся: статья и сегодня не утратила своей актуальности.

Бессчастный наш Пушкин! Сколько ему доставалось при жизни, но сколько и после жизни. За пятнадцать десятилетий сколько поименованных и безымянных пошляков упражнялись на нём, как на самой заметной мишени. Надо ли было засушенным рационалистам и первым нигилистам кого-то «свергать» — начинали, конечно, с Пушкина. Тянуло ли сочинять плоские анекдоты для городской черни — о ком же, как не о Пушкине? Зудело ли оголтелым ранне-советским оптимистам кого-то «сбрасывать с корабля современности», — разумеется, первого Пушкина.

Но даже в самые жуткие годы, к ранней пятилетке, уже стали «революционные идеалисты» очунаться. И даже в печалославной советской «Литературной энциклопедии» (наше поколение учили черпать мудрость из её столбцов, затаив дыхание получать в читальнях), хотя и прокатывали Пушкина через разрыв с феодальной литературой, связь с капиталистическим развитием, тревогу за будущее своего класса, боязнь демократических низов, то прогрессивный романтизм, то романтизм реакционный, — но всё ж выводили «включение поэта в нашу эпоху и ценность его для социалистической культуры».

Увы, даже от такого кислого приятия (но, увы же, не от драгоценных классовых хваток к царю и декабристам) отшагнули литературные оценщики из сегодняшней образованщины. Вот эмигрантский журнал (Синтаксис. 1982. № 10) печатает на редкость сердитую статью из СССР «Пушкин без конца» (в смысле: когда же ему будет конец?). Ведь, кажется, так уже ясно: «вряд ли можно найти что-нибудь более чуждое современному человеку, чем лирика этого поэта», «Пушкин попросту не нужен», — но изумляет жёлчного автора «неожиданная необычайная популярность поэта» и даже «возникший у нас культ личности Пушкина». Впрочем, берётся объяснить, — «надо только отделаться от шпета перед его гением». Методика будет такая: «светлая сторона личности Пушкина не будет нас здесь интересовать», «незачем касаться того, в чём он был чист и глубок» (ведь не это же нам объяснит, почему его так любят в России через 150 лет), также и — «нас интересует здесь не поэтический дар... Александра Сергеевича», достаточно мерки классово-политической. А вот путь исследования: «Никто не станет теперь отделять психическую жизнь человека от её физиологической основы» (прямо от писаревских нигилистов). В свой поиск о личности поэта не упустить глумно включить его собственные признания (удобно, пригодится):

И, с отвращением читая жизнь мою...

\*

Печатается по:

Солженицын А.И.

Публицистика: В 3 т. Т. 3.

Ярославль: Верхняя Волга,  
1997.

...Колеблет твой треножник

(апрель 1984). Первая

публикация: «Вестник РХД»,

1984, № 142. В России

впервые — в журнале

«Новый мир», 1991, № 5.



Бегло накидать уже сильно потрёпанный предшественниками очерк декабристской эпохи, дворянства, общества, да нации, да всей страны («извечное русское холоничество», «редкий в этой стране здравый смысл») — и разной грязи об её истории. И вот наконец ответ о сегодняшней популярности Пушкина: он потому близок и понятен нашему обществу, что он такой же предатель! — вот открытие. Пушкин «предал свои убеждения под угрозой тюрьмы и покорился власти, от которой зависело его общественное положение и материальное благополучие. Пушкин был политическим ренегатом». В духе стандартной дореволюционной «освободительской» непримиримости нам указывается: Пушкину «не пришла в голову мысль, что откровенность с царём постыдна, потому что царь — политический враг». (Ископаемое из слоя тех десятилетий.) И только, де, потому никого не заложил, что его не посадили в каземат. Но Пушкину «надо было образумиться срочно... в одну ночь, примириться с действительностью... или идти в тюрьму».

Не расхлёбывать нам сейчас тут заново неразумную кашу декабризма. Бойкий оценщик не удосужился даже соотнести получше с датами. И царствование Александра I совсем не было к Пушкину «снисходительным», как он его называет. И тем не менее уже в его сроки Пушкин испытывает поворот мировоззрения. Можно бы заметить, «Андре Шенье» — написан до декабрьского восстания, Пушкин уже тогда разгадал цену революциям. И «Годунов» со всей его исторической глубиной — создан до. С.Л. Франк писал: уже к 1825 году в Пушкине выработалась «совершенно исключительная нравственная и государственная зрелость, беспартийно-человеческий, исторический, «шекспировский» взгляд», «глубоко-государственное, изумительно мудрое и трезвое сознание, сочетающее принципиальный консерватизм с принципами уважения к свободе личности». И даже та прожжённая советская литэнциклопедия худших начётнических времён отмечала поворот во взглядах Пушкина с 1823-го, а пушкинское неодобрение декабрьского восстания объясняла хоть «боязнь крестьянской революции», но не лично шкурными же интересами. Далеко же шагнули образованские критики в своих понятиях.

Да это ещё не всё, главный смак нам оставлен на последние странички. Оказывается: женский светский аристократический Петербург составлял личный гарем царя. (Да какие ж у нашего проницательного исследователя источники? — ну, уже догадались: «послушаем, что рассказывает об этом [проезжий] маркиз де Кюстин», со слов «одной из своих

знакомых, как поступила бы она, если бы царь проявил к ней интерес».) Итак, установлено: «Царь не встречал отказа, таких случаев просто не знали». Значит, и Пушкин: «продал царю своё перо, а теперь должен служить ему и своей женой... Известный своей гордостью поэт... должен был теперь нести постыльную повинность, подобно всем».

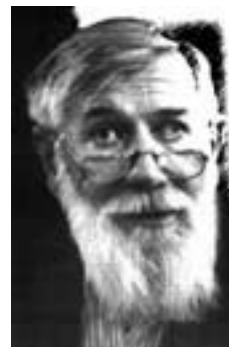
Однако не амурный поворот статьи, нет, политико-социальный, и Пушкин тут всего лишь как матерчатая мартышка, главные же громы — к ничтожным современникам, злость и высокомерие автора к ним уже в области забавности, но поскольку он не открыл нам себя, то лишает возможности оценить, насколько сам своею жизнью вознёсся над описываемым стадом. И оттого отскакивают к нему рикошетом его же формулировки: «Культура утрачена до такой степени, что самая утрата её уже не осознаётся», «человеку свойственна глубокая потребность в самоутверждении... поэтому так интересно рыться в грязном белье так называемых великих людей».

Ах, как предчувствовал Пушкин, написав: «Уважение к именам, освящённым славою... первый признак ума просвещённого».

Но появившись эта статья в отроге вольной социалистической публицистики, она и была бы отрезком всё тех же классовых аналитиков. А нет, пикантность в том, что её приючает в ограниченном объёме своего «Синтаксиса» Синявский. Что же тут могло привлечь разборчивого литературного критика?

Это заставляет задуматься: с каким же ведущим чувством были написаны и «Прогулки с Пушкиным»? Берём их в руки. Ещё обложка предупреждает нас, в чём будут состоять прогулки: франтоватость беспечного Пушкина (у него же не было горей) — и основательная огруженность лагерника Синявского, вероятно, прямо с лесоповала: в валенках, стёганой ватной одежде, рукавицах, и всё это внутри двойного обмыка колючей проволоки: вот, дескать, сейчас мы тебя распатроним перед нашим лагерным опытом.

Задачи своей критик не скрывает от самого начала: спешит выразить её глубину юмористическим эпиграфом из «Ревизора», а на первой же странице уже включает и в текст как устоявшееся бы суждение о Пушкине: «так как-то всё». Мучительно переборцов свою «любовь к Пушкину, граничащую с поклонением», критик, однако, не сразу переходит к разбору «священных стихов поэта». Начи-



Андрей Синявский

нает он... да с того же самого вопроса, который мы только что слышали: «нам как-то затруднительно выразить, в чём его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе», «чем, в самом деле, он знаменит за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес»? И затем — да, с тех самых анекдотов о Пушкине, затрёпанных, пошлых, они служат как бы научным вводом. Вот так трассируется:

— Ходячие анекдоты о Пушкине — Небрежность стиха, расхлябанность работы — Пушкин при дамах, кружение влюбчивости...

Эта череда ходов и не претендует на стройность, и даже избегает её, это — продуманный танец вокруг Пушкина, не проникающий в его ядро, и часть па — меткого подражания, существенных примет, а часть и пустой припляс.

...— Пушкин пародии и развивался вбок — Пристрастие Пушкина к анекдоту — Пушкин умер как мальчишка в согласии с программой своей жизни — Смирение — Универсализм от легкомыслия вальсирующего взгляда...

И как же стыкается ход с ходом? По ассоциациям, часто искусственным, хотя искусным, перескоки с сюжета на сюжет.

...— Содержимое Пушкина — пустота — Пушкин — вурдалак — Беспутный Певец чумного пира...

Ещё более удивитесь этому сооружению: не постройка, а как бы прогрызен Пушкин норами, и всё больше по нижнему уровню, и система нор так запутана, что к концу мы вместе с эссеистом уже вряд ли помним своё начало и весь путь.

...— Мелочная регистрация жизни вместо её описания — «Евгений Онегин» — роман ни о чём, растительное дыхание жизни — Болтовня как осознанный стилистический принцип Пушкина — Пушкин — родоначальник невыносимого реализма русской литературы...

Тут танцор захрамывает и даже падает на колени:

...— Неуничтожимое чувство истории — Неопровержимое ощущение гармоничности бытия — И оттого — скульптурность, удержание образа — «Магический кристалл», всплытие невоплощённого блаженства... —

и это лучшее место, мы к этому вернёмся. Но затем движение снова уклочивается —

...— Первая частная персона в фокусе исторического внимания — Фамильярность и экстравагантное позирование... — Преимущества негритянского происхождения — Пушкин равняется на Петра I — Пушкин равняется на Аполлона — Дионисийский восторг

«Медного всадника» — Пушкин отрясает свой ничтожный прах в Онегина — Пушкин — это Хлестаков!

Странное... скажем, эссе, я назвал бы его «червогрыз», наиболее точно к его ходам. У него нет смысловой конструкции, оно именно так и строится: начав со сладкого места, прогрызает и дальше лабиринт по сладкой мякоти, а где твёрдые косточки, что не идёт в жваю, — миновать. Ни там индуктивного, ни там дедуктивного метода критик нам не предлагает, но ведёт по замысленно запутанным извилам. Противоречия между ходами не смущают эссеиста: вурдалак (с большой экспрессией и пониманием нам передан процесс вурдалачества и его ощущения) — и смирение. У беспутного — полнота гармонии. В пустоте — напряжённое чувство истории. Отрешённый царь поэзии, Аполлон, или земной царь Пётр, «спиной к человеку», раздавливая его, — и Хлестаков... Эссеист увидел в Пушкине и что действительно можно увидеть — и чего уж никак невозможно. Но начальное скольжение идёт у критика легко, обаятельно и быстро приводит нас к заслуженно ничтожной смерти поэта. Однако танец, на всём пути умело оркестрованный стихами Пушкина, продолжен: цитаты если не всегда к месту по мысли, то к месту по музыке — музыка заимствуется у жертвы, — и, при ограниченном объёме произведения, эссеист возвращается, — не от запутанности своих ходов, но от страсти — второй раз отбить чётку над дуэлью и смертью Пушкина, один раз ему кажется недостаточным. «Как ему ещё прикажете подышать?»

В подробном лабиринте всего прогрыза чего только мы ни услышим, через что только ни вынуждены будем переползать. Безответственность, безтрудолюбие, беззаботность Пушкина. Пушкин «органично воспринял вкусы балагана». И эти дешёвые вкусы не могли же не определить и собственного поведения пушкинского ничтожества: «Площадная драма, разыгранная им под занавес... в своей балаганной форме... правильно отвечает нашим общим представлениям о Пушкине-художнике... в крупном лубочном вкусе преподносит достаточно близкий и сочный его портрет» — и, через двоеточие, объяснение портрета: пугачёвская притча, что лучше раз напиться живой кровью, чем триста лет питаться падалью, — любимая притча Сталина, много преподаваемая в советской школе, — вот её и прилепить Пушкину, приём! «Вольно пересекаемое пространство», по которому «скользит, вальсируя, снисходительный взгляд поэта», — «вот его творчество в общих контурах». Наш аналитик вообще любит так — «в общих контурах» (а то — «грубо говоря», или — «продолжая,



быть может, немного дальше, чем [оппонент] намеревался сказать», — многообещающая метода), представить предмет не в его пропорциональности, а в карикатуре, тогда его легче препарировать. «В общих контурах» мы и получаем, что «в облегчённых условиях творчества» юноша Пушкин «шалая-валяй, что-то там такое пописывал, не утомляя себя излишним умственным напряжением».

Подкрешим эссеиста примерами: в 16 лет — «Наполеон на Эльбе», «На возвращение Государя императора из Парижа»; в 17 лет — «Принцу Оранскому», «Боже! царя храни!..»; в 20 — «Деревня» («Приветствую тебя, пустынный уголок...»).

«Лёгкость в отношении к жизни была основой миросозерцания Пушкина». Подкрешим и тут: «Безверие» (1817). 18-летний юноша так разветвлённо описывает отроги неверия, этих мук, когда

*Уж ищет безрешетва, а сердце не находит...  
Во храм Вельяминова с толпой он молча входит,  
Там умикает лишь тоску души своей, —*

а между тем

*Завесу вечности колеблет смертный час,*

приводя к открытию, что

*Лишь вера в тишине отрадного своей  
Убивит увильвий дух и сердца оживит.*

В наше время не каждому и в 60 лет доступно такое видение.

«В произведениях [Пушкина] свирепствует подмена, дёргающая авторитетные тексты вкривь и вкось». И где ж это «дёрганье»? Мы не ткнуты. (Тут бы и вспомнить критику, если б стояло у сердца: например, гениальное переложение в стихи «Отче наш» и молитвы Ефрема Сирина — вот уж не «вкривь», и вот ещё на что шла лёгкость пушкинских стихов, — кто из поэтов делал что-нибудь подобное?) Совмещал «вселенский замах», «генеральные масштабы» со вниманием к «расположенной под боком букашке», «крохоборческое искусство детализации», «карикатурно мелочен» — в упрёк. (А это — высшая похвала: что художник с равным успехом пользуется и легко меняет дальний и ближний объективы. Такая гибкость послана редко кому.) От Пушкина «повёлся на Руси обычай изображать действительность» (раздражённый курсив Свияжского). И чем же плох обычай? «Болтливость Пушкина сочли большим реализмом». И такой ещё на-

ходится Пушкину упрёк: «первобытная радость простого названия вещи», «поимённая регистрация мира», впрочем, «небрежная эскизность и мелькание по верхам» сближали сочинения Пушкина с «адрес-календарём». Особенно допекают критика многословные перечисления в «антиромане» «Онегине»: мол, «взамен описания жизни он учинял ей поголовную перепись», что может дать простой реестр?

Отчего же? Вот, например, простой реестр издёвок, которые успевают нахвырять критик поэту на тесном пространстве своего упражнения (для лёгкости чтения даю абзац без кавычек):

Егозливые прыжки и ужимки. Проворнее отгаторитории. В амплуа ловеласа... прибыльное циркулирование стихов. Жестикуляция по-обезьяньи. При даме он вроде как при деле. С барышнями... вибрировать всеми членами. На тоненьких эротических ножках вбежал в большую поэзию. Сплошное популярное пятно с бакенбардами. Поэтический стриптиз. [Для дам] незаменимый, как болонка, такая шустрая, в кудряшках. Паркетный шаркун. Сколотивший на женщинах состояние. [Хлестаков] — человеческое alter ego поэта. Небесный выходец, скорее бес...

Скорее бес...

А то просто трунит: «плакать хочется — до того Пушкин хорош», «мы слизываем языком слёзы со щёк». Впрочем, «возбуждал иногда у чутких целомудренных натур необъяснимую гадливость». И это при том, что Синявский то и дело восхищается Пушкиным, излагая это талантливо, увлечённо, местами ярко, однако эпитеты выдержаны так, чтоб и похвальная форма грязнила бы поэта. Нам предложено такое условие игры: сквозная двусмысленность, повсюду искать порчинку или даже искусственно её создавать.

Теперь о пушкинском творчестве:

[Лефовское] «искусство в производстве». Сам не заметил, как стал писателем, сосватанный дядюшкой под пьяную лавочку. Расхлябанность и мгновенное решение темы. Слабость к тому, что близко лежит. Его понесло. Ошалевший автор. Мчался давить мух. Порожня тара. Пушкинская лужа (наплаканная стационарным зрителем). [Его] болтовня исключала сколько-нибудь серьёзное и длительное знакомство с действительностью. Работал, как фокусник... если правая [рука] писала стихи», то левая ковыряла в носу. Подсовывает читателю завалящий товар. У него было правило не отказываться

от дешёвых подачек. Строфа его... достаточно ординарна и вертится бесом, не брезгая... ни примелькавшимся плагиатом, ни падкими... рифмами. Его бессмысленно звонкие строфы. Кто ещё адекватным дуриком входил в литературу?

Или в литературную критику?

И это тянется через всё вертлявое сочинение, хлещет на каждой странице, таков — фон исследования. Зачем эта цепь кривляний, как она идёт к делу? Ею ничто не решится.

Постепенно мы начинаем понимать, что это и к чему. Критик увидел надёжный пятак, на котором громче тарелки бить, тем и сам слышней. Пушкин для него не столько предмет, сколько средство самопоказа — своих прыжков, ужимок и замираний. Но при этом непоправимо отказывает эссеисту чувство меры. «Поражает, как часто его гениальность пробавлялась готовыми штампами», — зато Синяевский тщится только бы не стривальничать. Он — в своём излюбленном жанре анекдота и скандала. Он предлагает читателю «отбросить тяжеловесную сальность» «простодушного плебейского похабства» — но с тем, чтобы пуститься в похабство интеллигентское.

Да, так о дуэли же ещё (опять без кавычек):

Жил, шутя и играя... умер, заигравшись чересчур далеко. Колорит анекдота был выдержан до конца. Сплетно первым пустил поэт... Дуэль, раздутая сонмом биографов и... обещаний клятвенно отомстить за него (шпилька Лермонтову)... — была итогом его трудов... И будет распускать позорный слух о Пушкине по всей планете всяк сущий в ней язык... И будет спрашивать всё слышавшее о нём человечество... (что же именно спрашивать?)... «с кем, когда, где?» (а может быть, намёк непонятен? кто не понял, тому в прямую пропечатку: .....? вопрос по-уличному, не повторяем), самый острый, самый существенный вопрос для эстета-литературоведа. И потеря последнее чувство меры — ещё раз в мякоть, отдельной строчкой-жалом:

«Ну а всё-таки?»

Да не к этой ли самой мякотке он и точил весь свой грызовой ход? С такою сальностью глумиться над несчастной колотьбенной замученной жизнью поэта в его послеженильбенные годы, когда уже и осень в Михайловском не давала ему покоя и вдохновения, а только заботы существования и горечь от жизни. А наивная-то Ахматова, полагая славу Пушкина утверждённой уже навек, недавно взялась перебирать изболевшие листки, отслоенные от истрадавшей души: «Тема семейной трагедии Пушкина не должна обсуждаться», но берётся она «уничто-

жить неправду» — из-за «зменного шипения Полетики, маразматического бреда Трубецкого, сюсюканья Араповой». Вот никак не догадывалась Анна Андреевна, что тут же, под рукой, подрастает ещё один славный язвист, а там потянется и целая приплясывающая вереница.

Неизлечимое ампула Синяевского — вторичность, переработка уже готовой литературы, чужого вдохновения, с добавкою специй. А ещё у него есть несчастное представление, что он творит новый литературный стиль языковыми разухабствами. Даёт он им волю и здесь. Не в лад, не в уровень к предмету рассмотрения, ни к задуманной высоте открытий напихать в текст грубых выражений, не слыша фальши собственного голоса (и это надо каждый раз понимать как художественный приём):

валандаются герои... шанс выйти в люди... встать на пона... жить на фуфу... по боку... на арапа... даёшь Варшаву!.. 15-летний пацан... смолоду ударил по географии... наваливается со своей биографией... ворошить злосчастные бебехи... к нашим баранам... сменив пластинку... скача на пуантах фатума (особая гордость стилиста, ибо: «но плимтам международного форума», и не слышит безвкусицы)... закидоны донны Анны... карманник Германи.

Последнее подводит нас к лагерному опыту эссеиста, и, конечно же, он не упускает украсить и тамошним жаргоном:

насобачившийся хилить в рифму [Пушкин]... статья Пушкина (то есть уголовная, в смысле жизненного жребия)... тянет резину... кейфуя... подначки... для понта, на слабо...

Так трудится Синяевский, чтобы сделать своё сочинение памятной гримасой нашего литературоведения. Наворачивает взвешенное правило французского вкуса: у меня маленький бокал... а я хочу пить из большого. Поражаясь пушкинской широте и глубине восприятия существующего, Синяевский изощряется объяснить их «сердечной неполноценностью», пустотой или «почти механической реакцией», «расфасовкой страстей и намерений по полочкам». «Много ль надо [вложить], коли нечего вкладывать», когда «не хватает своей начинки». В бессилии уловить тайну пушкинского приятия мира критик нетерпеливо толкает поэта — в пустоту.

Для пустоты Пушкина он находит и такое веское доказательство: под его пером мы «успе[ваем] подружиться с обоими враждующими сторонами», Пушкин «наслаждается потехой» столкновений, «подыгрывает нашим и вашим», «будто науськивает их». Норовит придаться: «Бог помочь вам, друзья мои?»





В этот стих щедро включено, по крайней мере, девять сфер жизни, — критик выхватывает оттуда одну «царскую службу»: ка-ак, и это наряду с декабристами!?! Тут у Синяевского вы звучит революционно-демократическая погудка, хотя уж так она не подходит к абстрактному эстетизму, настроение и мысли совпадают с приоченным разоблачителем «Пушкина без конца». «Царская служба»? — кроме жандармской, никогда не воображали ревдемократы других служб, создающих и крепящих Россию.

И вот куда дальше разыгрывается «пустота» Пушкина: «Для него уподобления суть образ жизни». Как будто критику такого ранга невдомёк, что уподобления, способность без остатка воплотиться в персона же и есть высшая форма писателя и артиста, а что вне этого — то будет Салтыков-Щедрин. Пушкин настолько «пуст», чтобы по-писательски уметь отобразить собой весь мир, а не только само-само-самовыражаться. Для того нужна не пустота, а бездонная глубина. Да, кто слишком занят собой, этого свойства понять нельзя. Всякий раз, воплощается ли Пушкин в Пугачёва, самозванца, Петра, Татьяну, Онегина, — всякий раз Синяевский торжествует, что тут-то он и поймал Пушкина на какой-то собственной мерзкой черте! И, переключившись, он выдувает пустой пузырь... Пушкина-вурдалака! Ему мнится: «в столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое», — а иначе критик не может объяснить: это «переливание крови жертв в порожнюю тару того [Пушкина!], кто, в сущности, никем не является». Феноменальное открытие! Содрогнулась история мировой литературной критики. Надо подмазать, обсосывать. А вот. Будто: у Пушкина в произведениях слишком много места отводится непогребённым телам, и даже «мёртвое тело смещается к центру произведения». Да где же это? А вот — убиенный царевич в «Годунове». Но позвольте, он повторно выплывает и выплывает как сюжет совести, а вовсе не в натуральном непогребённом виде, и вовсе не как страсть поэта-вурдалака. Сколько существует пушкинский «Годунов» — никто тут не видел до Синяевского наслаждения кровососанием. Другие доказательства: прямые упоминания мертвецов, утопленников и даже вурдалака в стихах Пушкина. Но это потому, что они не так редки в фольклоре (ба! пропущенная тема: «народ-вурдалак»), — и Пушкин с чуткостью следует за фольклором. (А Синяевский, увы, демонстрирует чувствительность скорее к блатному жаргону.) Но к чему поставлено у Пушкина? Утопленник? — мораль перед мёртвым; вурдалак сведён к шутке, из чего нам надувают? «Шокольник у Пушкина

служит... катализатором, в соседстве с которым [действие] стремительно набирает силу и скорость». Ну что за натяжка? Кто, оглядывая в целом всё читанное у Пушкина, уловил это некрофильское возбуждение? Синяевский натягивает примеры из «Дон-Жуана», из Вильсона (сюжеты бродячие), а из «Онегина» даже антипример (от смерти Ленского действие прервалось надолго), — всё стодится. Но на том и лопнул вурдалачный пузырь.

Как же это всё понять? В разборе есть столько талантливого — зачем же его губить? Неужели Синяевский не видит высших уровней Пушкина? О, отлично видит (из-за того и всё выламывание на пушкинской площади), и от поры до поры даёт им прорисоваться на своих страницах. «Эротическая стихия у Пушкина вольна рассеиваться, истончаться, достигая трепетным эхом отдалённых вершин духа». (Или, менее удачным слогом: «впечатление перекрыто положительным результатом».) «Всем на удивление — нов, свеж, современен и интересен». «Загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашённых». Да и «растительное дыхание жизни» — пожалуй, тоже оборачивается похвалой? «Роман утекает у нас сквозь пальцы», «неуловим, как воздух». Пушкину «всегда удавалось попасть в такт», он, и безумствуя, знает меру, именуемую вкусом» (урок его критикам). «Вещи выглядят у Пушкина как золотое яблоко на серебряном блюде». «Пушкин чаще всего любит то, о чём пишет... [и вот чего лишена наша новейшая литература, увы] ...а так как он писал обо всём, не найти в мире более доброжелательного писателя». «В своих сочинениях [Пушкин] ничего другого не делал, кроме как пересказывал ритмичность миропорядка». Это проворчано в сниженном ряду «обеда и ужина, зимы и лета», — а есть ли у художника более высокая задача, чем делать слышимым ритм миропорядка? Чувство всеобщей гармонии, царствующее в Пушкине, дразнит критика — и он схемно, коридорно объясняет его фатализмом, «сознанием собственной беспомощности». Сень божественного Провидения у Пушкина критик подменяет с маленькой буквы «судьбой, распределяющей награды и штрафы». «Ленивый гений Пушкина — Моцарта потому (!) и не способен к злодейству», что не берётся «самовольно исправить судьбу». Во всех извилистых ходах тяготеет над Синяевским это недоумение от разности мироощущений. (По поговорке — «болен чужим здоровьем».) По художественному чутью он не может этого не воспринимать на каждом извиве. «Пушкин — золотое сечение русской литературы». «Фигура круга... наиболее отвечает духу Пушкина»,

«самый круглый в русской литературе писатель». Где-то в середине Сиявский и вовсе прекращает свой танец, на короткое время перестаёт суетиться с нагромождением парадоксальностей, но в озадаченности всё поднимается. Тут он делает своё замечательное наблюдение, что изобилие «отрывков» у Пушкина, — «Пушкин по преимуществу мыслит отрывками, это его стиль», — вовсе не порок, а тоже признак совершенства: «Утраты не портят их, а, кажется, придают настоящую законченность образу... Фрагментарность тут, можно догадываться, вызвана прежде всего проницательным сознанием целого, не нуждающегося в полном объёме и заключённого в едином куске». Эти все наблюдения до чего же верны. Это тут критик зорко судит о природе скульптурности у Пушкина как способе удержания образа, тут со вдохновением истолковывает и необминуемый «магический кристалл» и, в «виденьях первоначальных, чистых дней», всплытие блаженства. И даже, в последней крайности, пронзённый, один раз присоединяет и свой голос к голосу поэта: «Отче, открой нам, что мы Твои дети».

Мы всё более недоумеваем. Понимая такое — на что же тратить свой талант? Как же можно столько изгаляться, наметать столько блатного мусора? Какое же чувство может двигать критиком, столько раз декларировавшим свою преданность русской культуре? Может быть, и для него самого это загадка. Вдруг встречаем в его новейшем эссе (Синтаксис. 1984. № 12):

Где только не испражняется русский человек! На улице, в подворотне, в сквере, в телефонной будке, в подъезде. Есть какая-то запятая в причудливой вашей натуре, толкающая пренебрегать удобствами цивилизации и непринуждённо, весело справлять свои нужды, невзирая на страх быть застигнутым с поличным... Однако ничто у нас на Руси так не загажено, как «памятники народного зодчества»... Пустынное место, что ли, располагает к интимности? Что же ещё делать в пустоте одинокому человеку? Скинет штаны, почувствует себя на минуту Вольтером и — бежать. И не просто дурь или дикость. Напротив. Чувствуется упорная воля... И сколько тут смелой выдумки, неистощимой изобретательности! В соборе XIII столетия мне посчастливилось обнаружить кокетливый след одного правдоискателя, оставившего аккуратную кучку под самым куполом...

Вернее — видимо, не объяснить. Не система взглядов и оценок ведёт критика, а вот этот синдром. Очевидно, «есть какая-то запятая в натуре» всякого ниспровергателя (о, далеко не единственного) искать для такой нужды если не святое место, то про-

сто притягивающее человеческую любовь, тепло, — и туда... «И сколько тут смелой выдумки, неистощимой изобретательности», — перелистывайте сегодняшнюю печатную продукцию, обретшую свободу.

А чтобы такой творческий акт, особой формы, произвести над гением — удобнее совершить над ним вивисекцию: рассечь на гения и человека, «светлую часть рассматривать не будем», выпустим, так и быть, гения из храма через купол, а в оставшемся пустом храме — нагадим. Эту вивисекцию, пигмейскую уловку, охотно употребляла дореволюционная ревдемократическая критика, затем и советская, теперь и новоэмигрантская. И Сиявский много страниц скатоного изложения не жалеет на изощрённые спекуляции о разъятии, совмещении, замещении Поэта и человека. «Пушкинский Поэт... нечто настолько дикое и необъяснимое, что людям с ним делать нечего... Он либо стоит столбом, ни на кого не обращая внимания, либо носится, как сумасшедший». Смешивать в живом лице человека и поэта — «тонкий соблазн. Пушкин «единого человека рассёк пополам на Поэта и человека» (вовсе нет, приписывает свой метод), — «фокусник». Столько фиоритур на темы крови («негр — это нет, негр — это небо») — и ничего о духовной укоренённости Пушкина. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» — «странная тирада»? Всё это не ново, малозначительно, пустые упражнения. Как во всяком человеке, всё едино, органично и в гении: его жизненное поведение, светлые и тёмные стороны, краски и тени личности, его мысли и взгляды, его художественные достижения и провалы, — и притом во всякую минуту естественное пребывание самим собою. Гениальность — не влитая отдельная жидкость. Судить по разъятым частям — обречь себя не понять сути. Но, конечно, понять явление целостно — несравнимо трудней.

Сиявский приносит и навязывает Пушкину, что для его «модели мироздания... необходимо в середине земли предусмотреть... гроб... неиссякающего мертвеца, конденсированную смерть». Так — для многих (чаще неверующих) людей, замороженных неизбежностью нашей смерти, тоскующих «в той норе, во тьме печальной». Но у светлого Пушкина мы нигде не встречаем страха смерти, для него смерть — на надлежащем, отнюдь не стержневом месте, на истинном уравновешенном её месте в строю вселенной, Пушкин и в этом проявляет предельное духовное здоровье. Когда он говорит о божестве и божественном — это никогда не пустые слова, не мимоходный эпитет. Поэт не сомневается в бессмертии души, сумел выразить его в двух поразительных эпитафиях младенцам.



Говорил: «Я много думаю о смерти и уже в первой молодости много думал о ней», — но относился к смерти примирённо, спокойно, с возвышением мысли. После дуэли потребовал от Данзаса не мстить за свою смерть. Причащавший его старый священник сказал: «Для самого себя желаю такого конца, какой он имел».

Однако заиграть Пушкина в пустоту — ещё будет мало. Как и предшественник их Писарев, новые критики заботятся создать впечатление, что Пушкин был глуповатый человек без существенных мыслей, лишь несомый необузданным даром. Тот тугоухий рационалист писал:

В так называемом великом поэте я показал моим читателям легкомысленного версификатора, погружённого в созерцание мелких личных ощущений и совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века.

В «Пушкине без конца»: «С лёгкой руки Достоевского принято считать [Пушкина] мудрецом». И у Синявского так прямо и написано: «по совести говоря, ну какой он мыслитель!», и подробней: «Отсутствие строгой системы, ясного мировоззрения, умственной дисциплины, всеядность и безответственность [Пушкина] в отношении бытовавших в то время фундаментальных доктрин».

Что имеют оценщики в виду? Какие такие фундаментальные доктрины? Они-то знают, но читателю не спешат разъяснить. Пушкин осмеливался высказываться так: «Нам уже слишком известна французская философия XVIII столетия», «соблазнительные исповеди», и «ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал своё имя». А посему все нежелательные — острые, меткие, глубокие — замечания выдающегося интеллекта в его публицистике, критике и письмах должны быть замолчаны, не напоминать, авось не заглянут, состроить временный желаемый шалашик без них.

Мы постепенно вступаем в объём, не изъеденный ходами критиков. Мы оглядели, что они в Пушкине изрыли, — но ещё остаётся: от чего уклонились, а без этого и картины нет.

С какой уверенностью и знанием возражает Пушкин Чаадаеву:

Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться (следует беглый обзор событий). ...Разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России?... Клянусь честно, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отече-

ство или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал.

Или в очерке о Радищеве:

Умствования одного пошлы и не оживлены слогом. <...> Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма. <...> ...Думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал. <...> ...Истинный представитель полупросвещения.

И о «Путешествии» его, этих святцах российской ревдемократии:

...Сатирическое воззвание к возмущению... Варварский слог... Бранчивые и напыщенные выражения... с примесью пошлого и преступного пустословия... жёлчью напитанное перо... Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственною книгою...

изданной ради политического взрыва в такое время, когда

...правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но ещё требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения...

Но и шире:

...Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви.

Да, невыносимо образованским литераторам цитировать Пушкина, где он и в виду внешней цензуры не упускает внутреннюю ответственность:

...он злится на цензуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой — чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной?

И даже ещё куда невыносимей: что «аристократия пишущих талантов» —

самая мощная, самая опасная... На целые поколения, на целые столетия налагает свой образ мыслей, свои стра-



ти, свои предрассудки... Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. <...> Самое глупое ругательство и неосновательное суждение получают вес от волшебного влияния типографии.

Да, может быть, в таких-то взглядах Пушкина (помимо его общего раздражающего душевного здоровья равновесия, неизъеденности ржавчиной) и залегает одна из причин нынешнего гнева. Две цитаты всё же проширают колымаги бок изнутри, и Синявский не утаивает их:

Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим... Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне... (и, продолжим, критика:) частные, поверхностные сведения, наобум припоровленные ко всему... —

да ведь это на полтора века вперёд от сегодняшнем полупросвещении и претензиях его глашатаев. А ещё ж о Соединённых Штатах, 150 лет назад:

С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстно к довольству.

И это неприятно: «Что нужно Лондону, то рано для Москвы».

А ещё же бывали перёчные свидетельства поэта, вроде:

Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смыслённости и говорить нечего. Переимчивость его известна... Никогда не встретите вы в нашем народе невежественного презрения к чужому.

А ещё ж недостижимая способность Пушкина «соединить в себе непримиримые сознания интеллигенции и империи» (Бердяев), «синтез империи и свободы, неосуществимый после него... Как только Пушкин закрыл глаза — разрыв империи и свободы совершился бесповоротно... Свободу мятежную он судит во имя высшей свободы... Ничто не позволяет назвать его демократом... С возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию... его консервативное

сознание» (Федотов), «свободный консерватизм» (Вяземский). Пушкин договаривался до того, что «устойчивость — первое условие общественного блага».

Да, при таких взглядах — Пушкина удобнее всего, разумеется, перевести в дурачки.

Гершензон так и статью назвал «Мудрость Пушкина». А Франк «великий русский мудрец». Он указывает, что Пушкин оставался в русском общественном сознании недооценённым в течение всего XIX века — потому что политическая мысль до самого 1917 года пошла (и пришла...) не пушкинскими путями. Используя все письменные высказывания поэта и достоверно дошедшие до нас устные, Франк оценивает политическое мировоззрение Пушкина как «изумительное историческое явление русской мысли», настаивает, что «величайший русский поэт был также совершенно оригинальным и, можно смело сказать, величайшим русским политическим мыслителем XIX века», «Пушкин представляет в истории русской политической мысли совершенный уникум среди независимых и оппозиционно настроенных русских писателей XIX века».

А пушкинский жадный интерес к истории и напряжённое чувство её? — много ли равного мы потом разыщем в нашей литературе? С каким настоящим, рискуя вызвать высочайшее раздражение, он держится за право доступа в исторические архивы. Как заботливо ищет бумаги по частным хранителям. Несколько начатых крупных исторических замыслов, история от Петра I до Петра III. Уж литературоведу надо бы уметь видеть писателя в тех контурах, к которым он рос и тянулся, а не только в тех, которые, по нескладности жизни, он успел занять. И каково толкование текста «Слова о полку Игореве», в спор набежавших поспешных специалистов! Яркая память всей глубины истории русской, с которою Пушкин ощущает свою органическую слитость, всех веков, а особенно последних царствований, а особенно Отечественной войны в пору своего отрочества, и трагических фигур этой войны. Постоянная забота «о славе и о бедствиях отечества» — и впереплёт с этим пристальное внимание ко всеобщей истории, и Западу и Востоку, «всечеловеческий захват при сохранении национальной полноты» (П. Струве), и не остывающий интерес к Европе (Вейдле: «метко застреленный европейцем, но плохо переведённый на европейские языки») и недавней тогда Французской революции, верное суждение о духе её:

*О броне сообразить не смеет  
нике бран...  
...Убийцу с палачами  
взобрали мы в царях... —*



братское чувство к казнимому Андре Шенье.

Но мало того что пушкинское чувство истории было напряжённым — оно было и удивительно взвешенным: он мог одновременно негодовать от внутренних пороков в современной ему России (письмо Чаадаеву, 1836) и не упускать места России в мировой истории. И каким уроком последующим десятилетиям звучит его предостережение:

...не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества.

Мы вовсе не призываем стать такими беспредельными поклонниками Пушкина, как те, которые в ответ на критику всех зол петербургского периода России отвечают: «А зато он дал нам Пушкина!» Однако удивляться надо тому, сколько пушкинского мы переносим с собою в XXI век. Что даже частные письма его мы сегодня читаем с упорным интересом. (И как они умны!) Ведь Пушкин застал нашу прозу «так ещё мало обработанной, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для объяснения понятий самых обыкновенных». Чтение его случайнейших отрывков, заметок передаёт нам ощущение полёта всегда свободной мысли. Ещё не имев и достаточно лет на мужанье и сотворенье, он стал верное начало наше. А мы не так-то много, не так-то во многом за ним и пошли, скорее сказать: русская литература до сих пор недостаточно усвоила Пушкина — и предложенную им широту (столько уклоняясь, за Радищевым? к мортирным сатирам на социальные язвы), и его легкосхватчивый попутный скользкий беззлобный юмор, отозвавшийся заметнее всех в Булгакове. Ещё и с рождением народной трагедии — сочетание свойств, о котором не скажешь, что оно потом легко повторялось в нашей или в другой какой литературе. Пушкину у нас оказались верны не столько имена первого ряда.

Пушкин уверенно вывел из наблюдений: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». Так вот Пушкин — принадлежал русскому, хотя удивительно были ему открыты и Древняя Греция, и Древний Рим, Египет, Библия, мусульманский мир, Испания, Франция, Англия. Пушкин пропитан русской народной образностью; в общей сродности с народной основой и его христианская вера. Она выражается в форме народного благочестия, которое он естественно перенимает из народной сти-

хии: «Пречистая и наш божественный Спаситель». Тут и няинно венчанье — «Так, видно, Бог велел», и предсмертный земной поклон Пугачёва кремлёвским соборам, и весь колорит «Бориса Годунова», и православный подвижник Пимен, и прямая защита православия в письме к Чаадаеву. С сочувствием и пониманием комментирует наш поэт и «Словарь святых», не боясь вольтерьянского хохотка. Не сочтёшь поэтической игрой переложение двух молитв. Не сочтёшь и простым разговорным оборотом:

*Веленья Божьему, о Мудра, будь послушна.*

Вера его высится в необходимом, и объясняющем, единстве с общим примирённым мироощущением:

*Мудра б, в заоблачную келью,  
В соседство Бога скрывтвися мне.*

Самое высокое достижение и наследие нам от Пушкина — не какое отдельное его произведение, ни даже лёгкость его поэзии непревзойдённая, ни даже глубина его народности, так поразившая Достоевского. Но — его способность (наиболее отсутствующая в сегодняшней литературе) всё сказать, всё показываемое видеть, осветляя его. Всем событиям, лицам и чувствам, и особенно боли, скорби, сообщая и свет внутренний, и свет осеняющий, — и читатель возвышается до ощущения того, что глубже и выше этих событий, этих лиц, этих чувств. Ёмкость его мироощущения, гармоничная цельность, в которой уравновешены все стороны бытия: через изведенные им, живо ощущаемые толщи мирового трагизма — всплытие в слой покоя, примирённости и света. Горе и горечь освещаются высшим пониманием, печаль смягчена примирением.

*За что на Бога мне роптать,  
Когда зонт околку творенью  
Я мог свободу даровать?*

Это — не мимоходная фраза, это философия, «милость к падшим призывал». Пушкин принимает действительность именно всю и именно такую, как её создал Бог. У него нет «онтологического пессимизма, онтологической хулы на мир...», но хвала ему; и «русская литература в целом была христианской в ту меру, в какой она оставалась, на последней своей глубине, верной Пушкину» (о. А. Шмеман). «Самый гармонический дух, выдвинутый русской культурой... Воплощение меры и мерность... До конца прозрачная

яность...» (И. Струве). Все противоречия у него разрешаются в жизнеутверждающей созвучности, в светлом аккорде. Вот этим оздоровляющим жизненным чувством Пушкин и превзошёл надолго вперёд — и русскую литературу уже двух веков, и сегодняшнюю смятенную, издёрганную западную. Из-за этого чуда и «не было в России писателя, перед которым анализ оказался бы настолько бессилён... Бедны и заносчивы все комментарии к тому» (Адамович).

Но прибегают проворные, быстро сколачивают фанерный макет претензией больше бронзового памятника, заслоняют и малоюют: «Пушкин-вурдалак», «Пушкин-Хлестаков», «Пушкин-предатель» (и ещё будет). И читателям предлагается забыть, что наслоилось в их душах от Пушкина, или, по крайней мере, усумниться. (Оба начинают с жалобы, что им мешает величие, вознесённость Пушкина, предлагают прогуляться с чёрного хода, — мол, парадный «заставлен венками и бюстами». Если принять эту мотивировку за чистую монету — нельзя не поразиться: какая ж внутренняя несвобода в общении с высокими ценностями, какое рефлексивное, подростковое сознание.)

Естественно ли было нам ожидать, что новая критика, едва освободясь от невыносимого гнёта советской цензуры, — на что же первое употребит свою свободу? — на удар по Пушкину? С нашим нынешним опоздавшим опытом ответим; да, именно этого и надо было ожидать. Потому что эта критика реально продолжает эстетический нигилизм шестидесятников, хотя б и понимала себя суперавангардистской. Не случайно у того же Синявского в диссидентской исповеди читаем: «я воспитывался в лучших традициях русской революции... в традициях революционного идеализма, о чём, кстати, сейчас несколько не сожалею» (дело хозяйское). Ревдемовскую и новейшую критику роднит революционное неуважение к классике (через которое они претендуют отличиться самобытностью мысли); новейшей, кроме того, свойственна вседозволенность сальностей и хамства.

И этот хоровод не вокруг одного Пушкина, и не только в двух названных сочинениях. В первом бегло успето и о Достоевском: «несуразное мировоззрение»; и Достоевский, мол, осудил своё вольнодумство «по той же причине» — то есть из желания угодить властям и добыть материальные преимущества. (Только о сутенёрстве пока не сказано.) В «Прогулках» достаётся тоже не одному Пушкину. Походя замечание о Гоголе такого типа: «рисовал всё в превратном свете своего кривоногого носа». (Стиль-то! — свет носа...) Но гораздо чаще о Лермонтове (Лермонтов чем-то сильно уязвил

критика, своим ли мистическим мироощущением?): много играл «на нервах» войны; «Бородино» появилось «под влиянием дяди» «самых честных правил» (ведь такое редкое слово «дядя», ясно виден литературный исток); ещё ж это неприличие «мстить» за Пушкина, или вызов: «Я рождён, чтоб целый мир был зритель...» Тут пока только эскизы, но, может быть, грянет и книга о Лермонтове, тем легче, что Лермонтов имел мало простора объясниться. Да вообще эта «лишённая статьи... оголтелая описательность девятнадцатого столетия», «горы протоколов с тусклыми заголовками»... Беглыми рикошетами раздражение критика достаётся Гончарову, Чехову, ну и, конечно же, Толстому: над названьем «Война и мир» критик хихикает, иронически называет Толстого «артистом», а в другом месте и прямо объявил его «гениальной посредственностью». (И что ж вырастает за грандиозная аполлоническая фигура самого судьи, создателя «Крошки Цорес».)

Это — перспективное направление, от него можно ждать ещё разительных открытий о русской классике. Ещё придут новые боратели, доказывать: как ни в чём и никакого прошлого у России не было, так и литературного тоже. Уже целая литературная ветвь (в эмигрантском отсылке усвоив себе и новый атрибут «русскоязычная») практически «работает на снижение», развалить именно то, что в русской литературе было высоко и чисто. Распушенная и больная своей распушенностью, до ломки граней достоинства, с удушающими порциями кривляний, она силится представить всеиронно, игру и вольность самодостаточным Новым Словом, — часто скрывая за ними бесплодие, вешешки несущественности, переигрывание пустоты.

Хотя не думаю, чтоб этот разгул оказался губителен для нашей литературы, с корнями в тысячелетней толще бытия народа и языка, но, несомненно, он прививает новые язвы нашему изнемогающему обществу, которому так мучительно трудно отстаивать обломки культуры в семидесятилетнем развале. Фет писал о Чернышевском: «Он кидает, например, грязью в Пушкина вовсе не за то, что Пушкин талант, нет, ему приятно в лице Пушкина хватить во всякий авторитет». В этом суть. (И дух наших «плоралистов».)

Для России Пушкин — непререкаемый духовный авторитет, в нынешнем одичании так способный помочь нам уберечь наше насущное, противостоять фальшивому. В удушьи 1921 года это уже понял и выразил Блок: «Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе!»

Апрель 1984